И. С. ГАГАРИН

Письмо отца Гагарина, священника общества Иисусова, Юрию Федоровичу Самарину
(В ответ на письма, напечатанные в журнале «День»)

Милостивый государь Юрий Федорович,

В пяти письмах Ваших, напечатанных в журнале «День», Вы нападаете на всех иезуитов вообще и на меня в особенности. Как Вы обратились к о. Мартынову, то я ему и предоставляю честь защитить невинных жертв клеветы, которой Вы слишком легко поверили. Что же касается до меня, Вы, вероятно, ожидаете от меня ответа. Да будет по Вашему желанию.

Вы хорошо помните обстоятельства моего последнего пребывания в Москве в 1842 году, когда я, будучи уже католиком, приехал устроить свои дела, прежде нежели вступить в иезуитский орден. Вы рассказываете, что я тайну моего обращения поверил только одному человеку, с которым связывали меня дружественные сношения, начатые в летах отрочества. Этого друга моего Вы знаете. Это Вы. Вы помните, как тягостна была для меня эта тайна, Вы знаете, с каким трудом я повиновался необходимости хранить молчание и как из моих уст не сорвалось никогда ни полслова, могущего показаться отречением от моих убеждений. Вы не забыли, какой я подвергался тогда опасности и какие последствия могло бы иметь одно неосторожное слово, произнесенное Вами на мой счет. Но мое доверие к Вам было беспредельно, а чтобы Вы могли сделать на меня донос, это мне и в голову не приходило. Смею сказать, если бы кто-нибудь тогда Вам шепнул, что и я способен сделаться доносчиком, Вы бы этому не поверили и оттолкнули бы с негодованием клеветника.

С тех пор я не переменился, мои убеждения, Вам тогда известные, остались убеждениями целой моей жизни. Почему же изменилось Ваше мнение обо мне? И как можете Вы, Юрий Федорович, обвинять меня в доносе? Положим, что Вы теперь на моем месте, а я на Вашем,

то есть что Вы живете за границей и что въезд в Россию Вам воспрещен, а я очень спокойно живу в Москве, пользуясь полною свободою ехать куда мне угодно и делать что мне вздумается. Никогда бы я себе не позволил написать одной строки, могущей продлить хоть на один день Ваше изгнание и поставить новые преграды Вашему возвращению в отечество.

Какое же Вы возводите на меня обвинение? Привожу Ваши слова. Вы говорите, что я хотел «воспользоваться *тогдашним* настроением России». Это настроение Вы описываете очень живо: «Книга Вашего собрата появилась в *очень нам памятную эпоху*, когда мы почему-то заразились чужим испугом и "убоялись страхом велиим идеже страха небе". Кто раздувал этот безотчетный, слепой и в то же время злобный страх, тот мог надеяться на успех. Ваш собрат это знал и указал пальцем на славянофилов как на кружок, в котором вырабатывалась *русская национальная формула революционной идеи*» («День», 1865, № 50–51, стр. 1198). Но как бы этой картины не довольно, Вы прямо говорите, что это было в 1850 или 1851 году. Помня слова Священного Писания «время молчати и время глаголати», в то время, которое Вы описываете, я молчал. Когда же я заговорил? В 1856 году.

Скоро минет тому десять лет, эти десять лет оставят по себе глубокую память в русской истории, но прежде преобразования судопроизводства, прежде земских учреждений, прежде даже отменения крепостной зависимости издан был манифест государя императора Александра Николаевича. Этот манифест был предисловием нового царствования, и я всегда буду гордиться тем, что я, отлученный от России, не имея с ней почти никаких сношений, не читая тогда русских газет, ни на одно мгновение не усумнился и расслышал в этом дальнем благовестии начинающийся говор нового века. Я написал «La Russie serat-elle catholique?». Вам стоило только окинуть беглым взглядом мое предисловие. Манифест служил ему основанием и был, если можно так выразиться, его исходною точкою. Моя книга вышла в Париже в июле 1856 года, а привезена была в Москву около времени венчания на царство. Перенеситесь воображением в то время и скажите, где был тот безотчетный, слепой и злобный страх, о котором Вы говорите.

Ваша громкая фраза не произвела бы никакого впечатления и не имела бы смысла, если бы вместо 1856 года Вы не выставили бы 1850 или 1851 года. Как Вы видите, ошибка довольно крупная. Если бы такая ошибка нашлась под пером иезуита, Вы непременно объявили бы его бессовестным лжецом и клеветником. Я про Вас это не скажу и, прибавлю, не думаю. Я не думаю, чтобы Вы с намерением удалились от истины. Вы очень злобны, очень несправедливы, очень

опрометчивы, но почитаю Вас добросовестным. Однако после такого промаха не мешало бы, Юрий Федорович, быть скромнее в Ваших нападениях, а Ваши читатели могут видеть из этого примера, что нельзя Вам верить на слово.

Не говоря уже о моих чувствах и о моем образе мыслей, стоит только вспомнить мое положение, чтобы удостовериться, что я в деле убеждений и верований не могу желать никакого вмешательства власти. Но то, что я говорю про себя, не могу я сказать про редакторов «Дня». За доказательством я далеко не пойду. В одном из Ваших писем Вы открыли в русском характере *наивность*. Признаюсь, в первую минуту такое примечание меня удивило. Я призадумался, но скоро убедился, что Вы совершенно правы. Вступительная статья, в которой главный редактор «Дня» объявляет своим читателям, что он решился печатать присланный ему о. Мартыновым ответ и Ваше возражение, содержит любопытный пример такой наивности. Г. редактор говорит, что первая статья, напечатанная в его журнале против иезуитов в 1864 году, написана была по тому поводу, что тогда в русском обществе пронесся слух, что указ, воспрещающий иезуитам въезд в Россию, будет отменен. Ответ о. Мартынова пролежал более года в долгом ящике редакции, и вот вдруг, в конце 1865 года, он печатается с Вашими пятью письмами. Вам, конечно, очень хорошо известно, что время этого второго нападения со стороны «Дня» также было очень удачно избрано. Но при этих-то обстоятельствах Вы обвиняете меня в доносе? Все это очень хитро придумано, но признайтесь, что заметка г. редактора очень *наивна*.

Нет, Юрий Федорович, доносов никогда я не писал и никогда писать не буду, но именно потому, что отклоняю от себя эти средства, я высоко ценю суд общественного мнения. Я знаю, что непогрешимость ему не дана, оно может увлекаться направо и налево, но защитники истины не должны слабеть духом, рано ли, поздно ли правда восторжествует. Не к власти, а к общественному мнению я обратился десять лет тому назад и почел долгом открыто и прямо высказать во всеуслышание, не скрывая моего имени, предостережение относительно двух направлений, существовавших тогда в русском мире. Про то и другое направление я говорил с умеренностью и с уважением, я замечал, что оба имеют хорошую сторону и долю истины, что оба могут увлечь за собою людей искренних и даровитых, но вместе с тем я показывал, что оба заключают в себе опасную закваску, от которой можно ожидать пагубных последствий. Одно из этих направлений оправдало мои опасения скорее, нежели я сам думал, оно породило нигилизм.

Посмотрим теперь, прав ли я был предостерегать общественное мнение против последствий другого направления, известного под

именем славянофильства. Хорошую сторону этого направления я никогда не оспаривал. Не говоря о живых, Иван Васильевич Киреевский был одарен умом светлым, сердцем горячим и благородным, душою прямою. Его память мне дорога. Учение, могущее привлечь к себе таких людей, может ими гордиться. Упреки, делаемые славянофилами против переворота Петра I, отчасти основательны, начала, занесенные в Россию с Запада, заключают в себе много вредного и разрушительного, мысль стать оплотом в мире духовном против этих враждебных сил достойна уважения. Перед славянофилами открывалось поприще превосходное. Задачею их было примирить прошедшее с настоящим, русскую народность с общечеловеческим просвещением, передать внукам наследство дедов, очищенное и улучшенное. Это все могло быть, но могло также выйти из этого учения совсем другое.

Начнем с народности. В давно прошедшие времена, то есть лет десять тому назад, одним из главных основных начал русской или славянской народности, если не первым, являлось общинное владение. Чего не было в этом общинном владении? Чего только нельзя было вывести из него? Мне казалось, что всего легче и всего прямее выходил из него коммунизм. И Вы удивляетесь, что я почел нужным предостеречь общественное мнение? Я знаю, что опасность миновалась. С тех пор, слава Богу, отменена была крепостная зависимость. Россия написала самую отрадную страницу своей истории, Александр II озарил имя свое чистою и неувядаемою славою, которую я в тысячу раз предпочитаю славе завоевателей; Вы, Юрий Федорович, принимали участие в этом великом и благом подвиге и тем оказали великую заслугу отечеству и потомству. С того времени воздух сделался чище и все как-то прояснилось. Многие привидения, которые ходили в прежнем мраке, исчезли. В том числе и общинное владение. Здравый смысл русского народа взял свое. Недавно один крестьянин, прислушиваясь к речам каких-то запоздалых сторонников общинного владения, не знаю, в каком хозяйственном или экономическом обществе, сказал: «Что же, если им общинное владение так нравится, почему же они не заведут его между собою?» После такого слова можно все дела сдать в архив. Оно так, но десять лет назад оно было иначе, теории славянофилов потрясали основное начало собственности, и я был прав, указывая на опасность.

Я не осуждаю любви к русской народности, но я прошу Вас также не пренебрегать общечеловеческим просвещением, прошу Вас не забывать, что это просвещение привито было к нам с большим трудом и что ростки, которое оно дало у нас, еще очень молоды и нежны. Вы нам расхваливаете прелести допетровского времени. Если бы Россия согласилась взять Вас своими путеводителями, чего бы не пришлось

нам видеть. Из ненависти ко всему иноземному Вы бы истребили все, что Россия заимствовала от Запада, образованные классы народа Вы подчинили бы необразованным и довели бы Москву, пожалуй, до времени Стоглава[1]. Ваша чрезмерная привязанность к народности помрачает в Вас чувство справедливости. Когда немцы навязывают какому-нибудь племени свою народность, нет слов, довольно сильных, чтобы выразить Ваше негодование, а когда Вы навязываете свою, все превосходно. Вы казуистике не учились и Бузенбаума[2] не читали, но, несмотря на это, Вы не очень разборчивы на средства.

Я также высоко ценю народность, но в моих глазах она не состоит в общинном начале и в неизменяемости старинных обветшалых форм. Я ее ставлю в независимости, и этой независимости успехи на поприще просвещения не приносят никакого ущерба, даже когда мы себе присваиваем плоды, добытые прежде нас другими народами. Я знаю, что недавно «День» выводил из мысли народности свободу печати. В древней Руси не было ни печати, ни свободы, каким средством свобода печати вытекает из народности, я не в состоянии понять. Но признайтесь, что мы вправе опасаться, чтобы славянофилы не вывели из народности совсем другое. Мы вправе видеть в Вашем направлении узкую и слепую ненависть ко всему европейскому, мы вправе сказать, что Вы вместо имени славянофилов заслуживаете имя европофобов.

Перейдем к православию. Славянофилы часто и громко твердят о своем православии. По моему убеждению, они вовсе не православные, не говорю уже, с моей точки зрения, они не могут быть православными в глазах Святейшего синода. Раскройте, например, богословие преосвященного Макария, посмотрите, что он говорит о Церкви учащей, хранительнице и истолковательнице Божественного откровения, состоящей не из пастырей и пасомых, а исключительно из пастырей («Введение в православное богословие», ч. 2, отд. 3, § 131). Возьмите потом эти брошюрки Хомякова, печатанные за границей, о которых Вы говорите с таким чрезмерным восторгом, и прочтите, как он обходится со Вселенскими соборами. Вы увидите, что он ставит окончательное решение споров церковных не в самом Соборе, состоящем из пастырей, а в согласии всех верных, т. е. в какой-то всеобщей подаче голосов. Это прямо ведет к учению Ламенне[3]. Вы удивляетесь, что Святейший синод в первую минуту не позволил распространения этих сочинений в России, а я удивляюсь, что он до сих пор молчит и не осудил учения, подрывающего основания Церкви, удивляюсь, как люди, придерживающиеся такого учения, могут называться православными. Нет, Вы не православные, Вы — старообрядцы, только у Вас недостает того, что составляет неотъемлемое

достоинство старообрядцев, неколебимой приверженности к независимости церковной. Зато у старообрядцев гегелианской закваски нет, а у вас она есть.

Позвольте здесь поместить одно примечание. Вы говорите, что, пока жив был Хомяков, я не смел ему отвечать. Это одно из тех голословных и неправильных обвинений, которые с такою щедростью сыплются из под Вашего пера. Мой ответ Хомякову был напечатан в 1859 году, он находится в периодическом издании, в котором я почти постоянно принимал и теперь принимаю участие (см. «Etudes de théologie». Nouvelle serie. T. I, p. 54). В этой статье я сделал несколько коротких выписок, из которых видно, что понятия Хомякова о Боге, о Христе, о грехах не только не согласны с православным учением, но едва ли могут быть истолкованы в христианском смысле. Нет, никакой беспристрастный человек не признает большого достоинства в этих брошюрках. В них нет ни ясных и определенных мыслей, ни точных выражений, ни строгих выводов. Это греческие софизмы в немецком тумане. Вы говорите с большим пренебрежением об А. Н. Муравьеве, я за него вступаться вовсе не намерен, но то, что он Хомякова православнее, в этом никакого сомнения быть не может.

Теперь черед дошел до самодержавия. Я дерзнул сказать, что некоторые славянофилы ставили начало православия и народности выше начала самодержавия. Я не знаю, как это могло Вас обидеть. Можно быть убежденным в необходимости самодержавия для России и своею жизнью жертвовать за это начало и между тем думать, что все-таки православие — начало высшего разряда. Но я готов взять слова свои назад и сказать, что в глазах всех славянофилов начало самодержавия гораздо выше стоит, нежели начало православия и народности. Довольны ли Вы?

Я сделаю Вам еще другую уступку. В продолжение последних десяти лет многое в России изменилось, между прочим, и значение славянофильства. Вышло на деле, что оно гораздо менее опасно, нежели как казалось прежде. Славянофилы не в состоянии поддержать еженедельную газету, их глас в России — глас вопиющего в пустыне, здравый смысл русского народа идет своим путем и не обращает внимания на своих самозванных пестунов. Становится очевидным, что славянофилы в разладе с духом века, их воззрение на мир отличается узкостью. Кроме босняков и латышей, они ничего не видят. Их идеал не впереди, а за спиной. Фанатизм помрачает их взгляд на вещи.

Возьмем, например, Ваше нападение на иезуитов. Вы их не любите. Это Ваше дело, и я этому не удивляюсь. Въезд в Россию им воспрещен. Вы, кажется, могли бы быть спокойны, но Вы не можете

от себя скрыть, что рано или поздно это воспрещение может быть отменено, не потому чтобы иезуиты имели в России какое-нибудь влияние, но просто потому, что самая явная польза России требует, чтобы начало католицизма в России было отделено от начала полонизма[4], а возвращение иезуитов есть необходимое следствие такого направления. Вы этих взглядов не разделяете, а почитаете присутствие иезуитов в России опасным и вредным. На это Вы имеете полное право. К какому же средству Вы прибегаете, чтобы достигнуть Вашей цели? Вы представляете их шайкою разбойников и мошенников. Но как же Вы не видите, что Вы слишком рассчитываете на наивность Ваших читателей. Если бы десятая, сотая часть того, что Вы против них наговорили, была правда, Вы бы не потрудились писать против них, они не могли иметь никакого влияния и в Ваших глазах они были бы совершенно безвредны. Положим, что мне разрешено жить в Москве. Я убежден, что Вы вовсе бы не боялись, чтобы я Вас зарезал или отравил. Чего же Вы боитесь? Чтобы меня приняли за честного человека с глубокими убеждениями, способного передать эти убеждения другим.

Иезуиты были в России около пятидесяти лет, при Екатерине II, при Павле, при Александре I. Деятельность их обращена была в пользу католиков, пребывающих в пределах империи, и никто, не исключая и Вас, не обвинял их в распространении полонизма. Никогда, напротив, действие католицизма в России не было так свободно от польского духа. Одна из главных причин их изгнания была та, что они противились Виленскому университету. Что поляки на них за то пеняют, это можно понять, но чтобы русские ставили это им в вину, это для меня непостижимо. Вы их упрекаете в том, что они православных обращали в католицизм. Действительно, в продолжение полувека обратилось полдюжины дам и один мальчик. Признайтесь, что нам из-за этого нечего ездить в Россию, это мы в Париже можем делать гораздо удобнее. Когда человек объявляет торжественно, что внутренние его убеждения не согласны с вероисповеданием, в котором он был воспитан, такой поступок можно судить различно. Но Вашего взгляда я решительно не понимаю. Вы ничего не признаете, кроме внешнего влияния и не допускаете возможности внутреннего, умственного или душевного процесса. Такое воззрение очень поверхностное и вовсе не философическое.

Вот, например, я — меня не иезуиты обратили. Начало положил Петр Яковлевич Чаадаев, на Басманной, в 1835 или 1836 году, а дело довершил Андрей Николаевич Муравьев[5] своею «Правдою Вселенской Церкви». Иезуиты никого ко мне не подсылали; но однажды решившись сделаться католиком, надобно же было мне войти в сношение

с католическим священником. Я ни одного не знал, за советами ни к кому не обращался, я сам свои дела делал, стал ходить по церквам и прислушиваться к разным проповедникам. Случилось так, что тот, кто мне внушил более доверия, был иезуит,— я к нему и отправился, но, когда я в первый раз переступил порог иезуитского дома, дело мое было уже совершенно решено. Я обратился 7 (19) апреля 1842 года, а 7 (19) июня того же года, ровно два месяца спустя, я отправился в Россию и план свой обдумал в Данковской деревне, где иезуиты не могли иметь никакого влияния на меня. Приехавший в Париж с намерением вступить в иезуитский орден, я с того начал, что прочел Мишеле и Кине[6]. После этого, то есть 12 августа 1843 года, вступил я в новициат[7] и в продолжение двух годов испытывал свое призвание.

Если бы в то время иезуиты были в Петербурге и если бы я обратился к ним, в нашей северной столице какой бы вопль поднялся против них! Может быть, они бы мне говорили в Петербурге то, что мне говорили в Париже: «Не торопитесь, подождите, обдумайте хорошенько, что Вы собираетесь делать». А если бы я им отвечал, как я действительно и сказал: «Я давно все обдумал, вот уже несколько лет, как эта мысль меня тревожит, далее жить в таком духовном положении мне невозможно»,— то что бы могли они сделать? Могли бы они мне сказать: «Вы ошибаетесь, Католическая Церковь не истинная Церковь, Вам в нее вступать вовсе не нужно?» Очевидно, они этого сказать не могли, а между тем в глазах людей поверхностных они единственные виновники моего обращения. Вы видите, что можно иезуитам воспрещать въезд в Россию, и несмотря на это, русские могут принимать католическую веру и даже вступать в иезуитский орден. Этот пример Вам объясняет, как во время своего пребывания в Петербурге иезуиты никого не ловили, никому никаких сетей не подставляли, а между тем могло случиться, что очень ограниченное число лиц, пришедши своим путем к убеждению, что Католическая Церковь — истинная Церковь Христова, требовали от иезуитов, чтобы они им вход в эту Церковь не возбраняли.

Поверьте мне, Юрий Федорович, напрасно призывать себе на помощь вмешательство власти, напрасно отстранять соперничество, этим Вы ничему не поможете. Займитесь лучше развитием своих, народных и православных сил, никто, конечно, Вам не помешает распространять около Вас истинное просвещение, самоотвержение и христианскую любовь.

Пределы письма не позволяют мне Вам объяснить, почему нападение со стороны «Дня» на иезуитов и на меня оставило меня совершенно равнодушным, даже скорее мне было приятно. Одно меня огорчило — что эти статьи подписаны Вашим именем. По целому

моему письму Вы можете убедиться, что раздражения я не чувствую и что я всегда готов протянуть Вам руку. Нападения Ваши не могут истребить во мне памяти старинной нашей дружбы. Будьте в том уверены.

Иван Гагарин,
священник Общества Иисусова

P. S. После жестоких нападений, сделанных Вами на меня в журнале «День», я убежден, что Вы не отказались бы напечатать мое оправдание в том же журнале. По слухам, дошедшим до меня, «День» прекратил свое существование и более издаваться не будет. Это обстоятельство наносит мне положительный вред, лишая меня возможности оправдаться перед тою публикою, которая читала нападения на меня. Но я надеюсь, что другие русские газеты не откажутся напечатать на своих столбцах мое письмо.

Париж, 18 (30) января 1866 г.